

ЛЕВ ИЛЬИН

КРЕСТОВИК



ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Лев Ильин

Крестовик

«Автор»

2026

Ильин Л. С.

Крестовик / Л. С. Ильин — «Автор», 2026

Москва, осень 1898 года. В одном из дворов Марьиной Рощи находят на поленнице человеческую голову — всё, что осталось от Смычка, хозяина воровской окраины. Через день душат второго «Ивана», через две недели — третьего. У каждого на груди аккуратно вырезан крест. Газеты дают убийце имя Крестовик, и вся Москва шепчет: воровских генералов режет кто-то в погонах. Четырёхгранный клинок, солдатская шинель, форменная пуговица у тела — след ведёт в военное ведомство. И дело негласно, без единой бумаги, поручают офицеру разведки Михаилу Пронину: он прошёл Геок-Тепе и Памир и умеет исчезнуть в трактире Марьиной Рощи, чтобы назавтра пить кофе на Кузнецком Мосту. Чтобы найти убийцу, Пронину придётся стать варшавским барыгой, заключить союз с королевой воровской Москвы и уйти по крышам от жандармской облавы — а потом понять, что за крестами стоит не месть, а безупречно разыгранная чужая партия.

© Ильин Л. С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

КРЕСТОВИК	5
Глава первая.	5
Глава вторая.	7
Глава третья.	10
Глава четвёртая.	14
Глава пятая.	15
Глава шестая.	18
Глава седьмая.	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Лев Ильин

Крестовик

КРЕСТОВИК

Роман о Михаиле Васильевиче Пронине

Москва, 1898–1899

Часть

I

Глава первая.

Прошка Ключев знал про утро то, чего не знали богатые: утро — самое сытное время суток. Богатые в утро спят, кухарки ихние выносят к помойным ямам вчерашнее, дворники ещё ленивы, собаки ещё добры, и всё, что город обронил за ночь, лежит нетронутое, будто нарочно для Прошки разложенное.

Потому подымался он затемно, когда в ночлежке тётки Аграфены воздух стоял такой плотный, что его, казалось, можно резать ломтями и продавать на Сухаревке под видом студня. Подымался, совал ноги в опорки, брал крюк и мешок и выходил в темноту — двенадцати лет от роду, ремесла тряпичного, прихода Лазаревского, как сам он отвечал городовым, ежели спрашивали.

В то утро — а было это двенадцатого октября тысяча восемьсот девяносто восьмого года, в понедельник, — туман напоз с Сущёвки густой, молочный, пополам с дымом. В Марьиной Роще дым свой, особенный: с одного боку тянет горелой костью от клеевого завода, с другого — кислым от красилен, а поверх всего стелется сладковатая гарь торфа, которым топят те, кому дрова не по карману. Чужой человек от такого духа зажимает нос платком. Прошка в нём вырос и различал в этом букете оттенки, как барин различает вина: вот у Свищёвых жгут старую рогожу, вот на Шереметьевской смолят, надо думать, ворованный телеграфный столб, а вот от бань Дьякона наносит берёзовым, праведным, субботним — хотя какая в понедельник суббота.

Он шёл по Шереметьевской улице, помахивая крюком, и вёл сам с собою обычный утренний торг: начинать ли с помоек при трактире, где случаются кости и бутылки, или сперва обойти дворы, пока дворники не проснулись. Дворы в Роще — понятие условное. Заборы тут ставят не для того, чтобы отгородиться, а для того, чтобы было где сушить бельё и через что лазать. Каждый двор проходной, каждый сарай с двойным дном, и ежели вся Москва строится вокруг церквей, то Марьиная Роща строится вокруг лазов.

В четвёртый по счёту двор — Селивановых, стало быть, двор, где прежде жила лудильщица Матрёна, а теперь никто не разберёт кто, — Прошка завернул по привычке: там у поленницы случалась медная проволока, которую кто-то из жильцов, видать, таскал с завода и ронял по дороге.

Туман в этом дворе стоял по грудь, как вода в пруду. Поленница высилась из него островом — длинная, в человеческий рост, сложенная кем-то основательным ещё по теплу.

На поленнице, аккуратно посередке, как ставят на комод самовар, стояла человеческая голова.

Прошка сперва не понял. То есть глаза его увидели всё сразу и в точности — и сизую щёку, и приоткрытый рот, и жёсткий ёжик седоватых волос, и тёмный, почти чёрный срез шеи,

— но внутри Прошки сидел механизм, отвечавший за понимание, и механизм этот заело. Он стоял и думал нелепое: что это, должно быть, из воска, как в паноптикуме на Цветном, куда его раз пустили за две копейки, и что зачем же восковую голову ставить на дрова, дрова ведь топить будут...

Потом голова на него посмотрела.

Она, конечно, не посмотрела — это уж Прошка после божились и крестился, что посмотрела, — просто туман шевельнулся, и тень прошла по мёртвым глазам, отчего они будто повернулись. Но Прошке достало.

Он заорал так, что в трёх домах окрест перекрестились спросонья, уронил крюк, мешок, всё своё тряпичное хозяйство — и кинулся вон со двора, через лаз, через другой, напрямки, не разбирая, по лужам, подёрнутым первым ледком, и орал, не переставая, до самой Шереметьевской, где и врезался с разбегу в нечто высокое, тёмное и неподвижное, как верстовой столб.

Столб взял его за шиворот и встряхнул.

— Чего блажишь? — спросил столб голосом городского Полосухина.

Городовой Полосухин был в Роще человек известный и по-своему уважаемый: службу понимал так, чтобы всё было тихо, а что тихо делается, того не трогать. Стоял он тут, на углу, не для порядка, а для обозначения, что порядок в принципе существует, — вроде часовни: молиться необязательно, но пусть будет.

— Голова!.. — выдохнул Прошка и замахал рукой назад, в туман. — Там!.. на дровах!.. глядит!..

— Чья голова? — спросил Полосухин строго, поскольку строгость была его единственным полицейским инструментом.

— Ничья-а-а! — заревел Прошка в голос, и вот тут-то Полосухин, человек не быстрый, но и не вовсе глупый, почувал, что утро кончилось.

* * *

К семи часам во дворе Селивановых набралось народу — не протолкнуться, и народ всё прибывал, потому что в Марьиной Роще новости разносит не телеграф, а бабы, и бабы работают быстрее. Стояли кругом, на почтительном отдалении, смотрели молча. Это было особое молчание — Полосухин, двадцать лет тут прослуживший, такого не слышал ни на пожарах, ни при утопленниках. Роща умела голосить, умела зубоскалить, над мертвецом обыкновенным непременно кто-нибудь сострил бы, потому что смерть тут была соседка привычная, вроде клопов.

Тут не острил никто.

Потому что все, кто стоял кругом, уже знали то, что Полосухин выяснил только с третьего разу, наведя на голову фонарь дрожащей рукой: жёсткий седоватый ёжик, сабельный шпрамик над левой бровью, серьга в ухе — старая, каторжная, «глухая».

На поленнице, посреди двора Селивановых, стояла голова Якова Денисыча Смычкова. Смычка. Того самого Смычка, при имени которого в Роще понижали голос даже пьяные.

Смычок был здесь власть — не та власть, что в участке, а настоящая, всамделишная: та, которой платят, которой кланяются, которую не обманывают. Четверть века он правил Рощей тихо и умно, как хороший приказчик правит имением при барине-нетяге, и барином этим была вся необъятная воровская Москва. Через смычковские руки шло всё, что в Роще скупалось, пряталось, переплавлялось и переправлялось; смычковским словом кончались ссоры, которые иначе кончились бы ножами; смычковой милостью жили полтораasta семей, и его же страхом — все остальные.

И вот теперь голова этой власти стояла на поленнице, как самовар на комоде, и туман осторожно трогал её седой ёжик.

А тела не было. Ни во дворе, ни в сараях, ни в лазах — Полосухин с подоспевшим напарником обшарили всё, светя фонарями и поминутно крестясь. Голова была одна, сама по себе,

и стояла — это Полосухин отметил тупо, но накрепко, и после так и записали в протокол — стояла ровно, лицом строго на восход, и под ней, чтобы не заваливалась, были подложены две ровные щепочки.

Кто-то ставил её аккуратно. Кто-то хотел, чтобы она стояла именно так.

— Осади! Осади, говорят! — покрикивал Полосухин на толпу, сам не зная, зачем: толпа и не думала напирать. Она стояла и смотрела, и в сотне пар глаз, тёмных, привычных ко всякому, плескался один и тот же вопрос, простой и страшный.

Если можно было сделать такое со Смычком — то что же теперь можно сделать со всеми остальными?

* * *

С краю толпы, за спинами, стоял человек, на которого никто не оглянулся ни разу, — и это было странно, потому что человек был по здешним меркам приметный: чистый, в добротном пальто тёмного сукна, в котелке, с зонтом, каких в Роще не носят. Впрочем, ничего странного: человек обладал полезным свойством, которое вырабатывается долгой практикой, — он умел стоять так, что взгляд соскальзывал.

Человек смотрел не на голову. На голову он взглянул лишь раз, коротко, как приказчик оглядывает выставленный в витрине товар: так ли стоит, как было велено. Убедившись, что так — лицом на восход, на щепочках, ровно, — он перевёл взгляд на толпу и дальше смотрел только на неё: на лица, на губы, на руки, теребящие шапки.

Он словно бы считал.

Потом с Шереметьевской слышались свистки, конский топ и дребезг пролётки — из Сущёвской части ехало начальство, — и человек в котелке, не торопясь, повернулся и пошёл прочь, аккуратно обходя лужи. У поворота он остановился, достал часы, щёлкнул крышкой.

Было четверть восьмого утра. В Москве начинался понедельник: дымили трубы, гудели заводские гудки, у Крестовской заставы ломовые ругались с акцизным, в церквах отходили ранние обедни, и миллионный город, кряхтя, впрягался в новую неделю, ещё не зная, что с этого серого утра, с этого двора, с этой поленницы в нём начинается история, которую после будут рассказывать шёпотом и врать в которой будут меньше, чем обычно, — потому что правда в ней и без вранья вышла страшнее некуда.

Человек в котелке спрятал часы и растворился в тумане.

А Прошка Клюев, виновник и первооткрыватель, сидел тем временем в участке на лавке, пил чай с казённым сахаром — навёрстывал, так сказать, с лихвой упущенное утро — и в двадцатый раз повторял письмоводителю чистую правду, которой ему не суждено было избыть до конца дней, потому что и через сорок лет, при совсем другой уже власти, он будет рассказывать её внукам, и внуки будут пугаться:

— Стоит... а после ка-ак поглядит!..

Глава вторая.

Ефим Кондратьевич Зубцов не любил три вещи: рапорты, начальство и предчувствия. Рапорты — потому что бумага врёт даже тогда, когда пишущий говорит правду. Начальство — потому что оно читает рапорты. А предчувствия — потому что за тридцать лет службы они не обманули его ни разу, и всякий раз он бы дорого дал, чтобы обманули.

В понедельник, двенадцатого октября, предчувствие село напротив него в пролётку ещё на Малой Дмитровке, ехало с ним через всю Москву до Сущёвской части, и было у предчувствия лицо — сизое, с приоткрытым ртом и каторжной серьгой в ухе.

О находке ему телефонировали в девятом часу. Телефон Зубцов тоже не любил, но признавал, как признают зубного врача. Пристав Сущёвской части, человек новый и оттого сует-

ливый, кричал в трубку так, что мембрана хрипела: голова-с!.. без тела-с!.. в Марьиной Роще-с!.. И тогда Ефим Кондратьевич задал единственный вопрос, который имел смысл:

— Опознали?

Пристав замялся ровно на ту секунду, которая сказала Зубцову больше всякого рапорта, и выдал:

— Так точно... То есть неофициально-с... Городовой признаёт в покойной голове мешанина Смычкова.

Вот тут-то предчувствие и уселось напротив, поправив несуществующие полы шинели.

— Еду, — сказал Зубцов и повесил трубку.

* * *

В мертвецкой при Сущёвском полицейском доме было холодно, пахло карболкой, восковыми свечами и тем третьим, ни на что не похожим, о чём не принято упоминать в приличном обществе, но с чем Ефим Кондратьевич сжился давно и прочно, как живут с тещей. Голова стояла на цинковом столе в глиняной миске — распорядился уже, видать, полицейский врач Брусникин, человек аккуратный, — и при свете двух ламп выглядела не страшно, а как-то сиротливо, будто вещь, забытая пассажиром на вокзале.

— Он? — спросил Зубцов, хотя спрашивать было незачем.

— Он, Ефим Кондратьич, — вздохнул стоявший рядом Хрулёв, старший агент сыскной, из бывших барышников, знавший московское дно на вкус и на ощупь. — Яков Денисыч, собственной персоной. Вернее сказать — что от персоны осталось.

Брусникин, не дожидаясь вопросов, начал докладывать своим скучным голосом, которым он одинаково говорил и о насморке, и о расчленении: смерть наступила, судя по всему, суток двое тому; голова отделена не тем орудием и не той рукой, что... впрочем, тела нет, сравнивать не с чем; отделена — тут Брусникин чуть оживился, как оживляется всякий специалист при виде чистой работы, — отделена мастерски. Одним, много двумя движениями. Крепким, длинным, очень острым клинком. Не топором-с. Топор — он гнётся в кости, рвётся, а тут — как хлеб порезали.

— Мясник? — спросил Хрулёв.

— Может, мясник. Может, охотник, зверя свежевать привычный. А может... — Брусникин пожал плечами и не кончил, но все в мертвецкой подумали одно и то же слово, и слово это было военное.

Зубцов насупился и запретил себе думать его дальше. Он обошёл стол кругом, наклонился, глядя поверх очков, — очки он надевал единственно для этого: смотреть поверх них, отчего у допрашиваемых делалось чувство, будто их видят насквозь, — и спросил у головы мысленно, по старой своей привычке разговаривать с покойниками: «Ну, Яков Денисыч? Двадцать лет мы с тобой в кошки-мышки играли, и вот дожили. Кто ж тебя так, а? Ты ведь тихий был, ты ведь умный был, ты ведь, прости Господи, полезный был, при тебе в Роще резались вдвое меньше...»

Голова молчала. Но и молчание бывает красноречиво: ни ссадин на лице, ни синяков, ни следов борьбы. Смычка не били, не пытали, не ловили по дворам. Его убили — а потом отрезали голову и снесли её, рискуя головой собственной, среди ночи в чужой двор, поставили на поленницу лицом на восход и подложили щепочки, чтоб стояла ровно.

Кому и что хотел сказать этот аккуратный человек?

— Тело ищите, — сказал Зубцов вслух. — Без тела мы с вами как без рук... — Он поморщился от невольной глупости. — Хрулёв, поднимай всех. Агентуру — всю, какая жива. Дворников — трясти. Тряпичников, золотарей, будочников на Виндавской ветке — всех. Тело где-то лежит, и лежит недалеко: возить его через заставы никто б не стал.

— Ефим Кондратьич, — осторожно сказал Хрулёв, — а в Роще-то... шепнуть кому? Каинихе шепнуть — она враз...

— Каинихе, — Зубцов пожевал губами, — Каинихе сейчас не до нас. У Каинихи, чую, своя буря будет. Ты вот что мне лучше скажи, старый ты конокрад: что в Роще говорят про смычковские дела за последний, положим, год? Не таился он? Не гулял шире обычного?

Хрулёв поскрёб бакенбарду.

— Говорят... — он понизил голос, хотя в мертвецкой, кроме них, живых не было, — говорят, фарт у него попёр с весны. Большой фарт. А какой — не говорят. Наши барахольщики носы вытягивали — куда там: смычковские старики молчат, как... — он покосился на миску и закончил неловко: — молчат, словом.

— Фарт, — повторил Зубцов. — Фарт, стало быть... Заметь себе, Хрулёв: когда у делового человека прёт фарт, о котором молчат даже свои, — это не фарт. Это грех. А за грехом, — он кивнул на цинковый стол, — вон чего приходит.

* * *

Наверху, в дежурной комнате, его ждали уже две неприятности сразу: телефонограмма от обер-полицмейстера и репортёр.

Репортёра — молодого человека в клетчатом пальто, с карандашом за ухом, по фамилии, кажется, Тесленко — Зубцов велел гнать, но записал себе в память: пронюхал раньше, чем доложили градоначальнику. Шустёр. Такого ни купить, ни запугать — такого можно только когда-нибудь употребить, и Ефим Кондратьевич отложил эту мысль про запас, как хозяйка откладывает бечёвку: авось сгодится.

Телефонограмма же гласила, что его превосходительство обеспокоены-с и ожидают доклада лично, сегодня, к трём.

Доклад вышел коротким, потому что докладывать было нечего, и неприятным, потому что его превосходительство изволили читать утренние выпуски. Газеты пока знали мало, но недостаток знания, как всегда, возмещали слогом: «УЖАСЪ ВЪ МАРЬИНОЙ РОЩѢ», «Голова безъ тѣла», «Куда смотреть полиція?».

— Найдите мне их, Ефим Кондратьевич, — сказал обер-полицмейстер устало; был он человек неглупый и с Зубцовым говорил без чинов. — Найдите быстро и тихо. Марьяна Роща — не Тверская, там режутся каждую субботу, я понимаю. Но тут... тут ведь не просто зарезали. Тут — заявление. Афишка. А когда преступный мир начинает вывешивать афишки, публика перестаёт верить, что мы хозяева в городе. Понимаете?

— Понимаю, ваше превосходительство, — сказал Зубцов чистую правду и удержал при себе вторую её половину: что афишка, судя по щепочкам, вывешена не публике. И даже не полиции.

Афишка вывешена была кому-то в самой Роще. И тот, кому она вывешена, прочёл её нынче утром в толпе, среди баб и тряпичников, — прочёл и понял, и теперь сидит где-нибудь за самоваром, и чай в его стакане стынет нетронутый.

* * *

А в одиннадцатом часу вечера, когда Ефим Кондратьевич, отпустив последнего агента, устраивал больную поясницу в казённом кресле и прикидывал, помолиться перед сном или уж прямо спать, — в дверь без стука вошёл Хрулёв. По лицу его Зубцов понял всё раньше слов, и предчувствие, весь день сидевшее напротив, придвинулось вплотную.

— Хитровка, Ефим Кондратьич, — сказал Хрулёв сипло. — Ночлежка Ярошенки, «Каторга» которая. Кистень. Фрол Силыч Кистень.

— Что — Кистень? — спросил Зубцов, уже зная.

— Удавлен. Тихо, чисто, в собственной каморе, при трёх десятках спящих свидетелей — и никто ничего. А на грудях у него... — Хрулёв замялся, перекрестился коротко, воровато, — на грудях, вашбродь, крест вырезан. Ножом. Ровный такой крестик, аккуратный... как на просфоре.

В комнате стало очень тихо. Слышно было, как в лампе посасывает керосин да как за окном, по Малой Дмитровке, дребезжит запоздалый извозчик.

Смычок — голова на восход. Кистень — крест на груди. Два «Ивана» за два дня. Не поножовщина, не делёж, не пьяная удаль — литургия какая-то, прости Господи.

— Во гресех роди мя мати моя, — пробормотал Ефим Кондратьевич задумчиво, поднимаясь и на шаривая рукав шубы. — А этих, Хрулёв, похоже, не во гресех даже, а по чину. По чину кто-то работает, вот что скверно... Едем.

Он ещё не знал ни слова «Крестовик», которое послезавтра тиснет в «Московском листке» шустрый молодой человек в клетчатом пальто; ни того, что к Рождеству это слово будет знать вся Россия; ни того, что через неделю ему на голову свалится из Петербурга тихий чиновник с сонными глазами, от которого пойдут одни беспокойства.

Но, спускаясь по тёмной лестнице вслед за Хрулёвым, он уже знал главное — то самое, чего боялся с утра.

Это было только начало.

Глава третья.

Каждое утро, в шесть три четверти, из меблированных комнат «Слава» на Божedomке выходил жилец из одиннадцатого номера и отправлялся ходить.

Ходил он при любой погоде, ровно сорок минут, всегда разными улицами и всегда одинаковым шагом — не скорым и не медленным, а таким, каким ходят люди, которым некуда спешить и нечего догонять. Коридорный Митька, изучивший жильца, как изучают приметы к дождю, докладывал любопытной горничной: барин смирный, чиновник из Петербурга по интендантской части, здоровьем слаб — для здоровья и ходит. Пьёт чай. Писем не получает. Женского полу не водит. Скучный барин, одно слово.

Барина звали Михаил Васильевич Пронин, и он действительно был скучный. На выработку этой скуки у него ушло двадцать лет жизни, два ранения и несколько таких историй, по сравнению с которыми маньчжурская чума показалась бы насморком, — потому что скука есть высшая и совершеннейшая форма незаметности, доступная человеку. Яркому не верят. Загадочного запоминают. Скучного не видят вовсе.

В это утро — было четырнадцатое октября, среда — Михаил Васильевич шёл по маршруту, который сам для себя называл «архиерейским»: Божedomка, Екатерининский парк, мимо института обратно на Самотёку. Ходьба нужна была не для здоровья, вернее — не только: на ходу лучше всего работала память, а память была единственная канцелярия, которую Пронин себе позволял. Записных книжек он не вёл. Всё, что следовало хранить, раскладывалось по комнатам большого казанского дома, в котором он вырос и который сгорел двадцать лет назад — оттого дом и был надёжен: не существующее нельзя выкрасть.

Сейчас, шагая под облетающими липами, он ходил по этому дому и прибирался в гостиной, где у него лежали московские пустяки последних месяцев: кого из знакомых по Туркестану он встретил на Кузнецком и что из этого следует (ничего); отчего в штабе округа писаря переписывают осеннюю разнарядку трижды (от дурости); и свежее, вчерашнее, газетное — про голову в Марьиной Роше и удушенника на Хитровке.

Газетное следовало бы выкинуть вон — не его приход, — но пустяк не выкидывался. Пустяк зацепился, как заусенец.

«Крест на груди, — думал Михаил Васильевич, механически кланяясь встречной старушке с просвиркой. — Аккуратный, как на просфоре, пишут. Врут, положим, наполовину, на то и газеты... Но если не врут — зачем? Убить „Ивана“ можно за многое. Пометить убитого крестом можно только для кого-то. Для кого? Кто адресат?.. И голова на дровах — тоже адрес. Два письма за два дня, и оба без подписи...»

Он поймал себя на том, что уже расставляет в казанской гостиной новую мебель, усмехнулся и мысленно накрыл её чехлом. Не его приход. В Москве он для поправления здоровья. Пуля под лопаткой, нога к сырости, высочайше дарованная скука.

Дойдя до ворот меблированных, он понял, что скука кончилась.

Понял по мелочи, которую не заметил бы никто, кроме него самого да, пожалуй, Митьки: у подъезда, шагах в двадцати, стоял лихач. Не извозчик — лихач, с хорошей серой лошастью, и стоял без седока, и кучер не дремал и не читал листка, а сидел прямо. На Божедомке, в семь тридцать утра, лихачи без седоков не стоят: не то место.

Михаил Васильевич прошёл мимо, не взглянув, поднялся к себе, и через две минуты Митька принёс ему на подносе визитную карточку без единого слова текста — только с типографским вензелем из двух перекрещенных ветвей, лавровой и дубовой.

— Внизу дожидаются-с, — сказал Митька, изнывая от любопытства.

— Проси, — сказал Пронин и стал разжигать спиртовку под чайником, потому что человек, приславший эту карточку, чая не пил никогда, а морочить голову следовало начинать сразу.

* * *

Полковник Аркадий Владимирович Скобелыцын вошёл, как входил всюду, — так, словно этот номер, эта Божедомка и эта Москва были подведомственны ему лично и он заглянул с инспекцией. Был он сед, сух, невелик ростом; носил статское, сидевшее на нём безукоризненно и всё-таки как мундир; и говорил тихо — многолетняя привычка человека, чьи слова записывать нельзя, а запоминать необходимо.

— Худеете, Михаил Васильевич, — сказал он вместо здравствуйте, оглядев Пронина, как оглядывают лошадь. — А Москва, говорят, полнит. Не полните, стало быть, назло начальству. Узнаю.

— Чаю, Аркадий Владимирович?

— Бог с вами совсем.

Скобелыцын сел к столу, положил перед собою портсигар, но курить не стал — портсигар у него был вместо чётки, — и с минуту молчал, глядя на хозяина номера светлыми, чуть навывкате, глазами. Пронин ждал. По петербургскому его начальнику молчание надо было пережить, как дождь.

— Читали про Марьину Рошу? — спросил наконец полковник.

— Газеты пишут, — нейтрально сказал Пронин.

— Газеты... — Скобелыцын щёлкнул портсигаром. — Газеты, друг мой, пишут четверть. Вторую четверть знает московская полиция и молчит. Третью четверть знаем мы с вами... то есть будем знать через десять минут. А четвёртой не знает никто, и вот за ней-то я к вам и приехал, поездом, ночью, как фельдъегерь, хотя мне по чину положено сидеть на Дворцовой и пить воды.

Он раскрыл портсигар, посмотрел на папиросы, как на чужих, и закрыл снова.

— Извольте третью четверть. Убитых — не двое, как пишут, а покамест двое опознанных; тело Смычкова, к слову, так и не нашли. Оба — «Иваны», воровские, так сказать, генералы. На груди у хитровского — крестообразный порез, посмертный. Работано, докладывает полицейский врач, ножом с четырёхгранным клинком... — Скобелыцын сделал паузу, ровно такую, чтобы собеседник успел подумать сам.

— Штык, — сказал Пронин. Слово вышло сухим, как щелчок затвора.

— Или охотничий четырёхгранник, или гранёный стилет, или Бог знает что, — согласился полковник. — Но московский обыватель, извольте видеть, слов «или» не любит. Далее-с. Хитровский удушен в ночлежке, среди трёх десятков спящих, и ни одна собака не проснулась. Чисто удушен, без шума, в четыре секунды. Вам, Михаил Васильевич, эта манера ничего не напоминает?

Пронин не ответил. В казанском доме его памяти вдруг, без спросу, отворилась дальняя дверь — за ней была ночь под Геок-Тепе, глиняный вал, звёзды с кулак, и пластун Молчанов, вернувшийся из-за вала, вытирал тесак о полу шинели и говорил глухим своим шёпотом: «Часового снять — это, ваше благородие, не сила нужна. Это нужно, чтоб душа не торопилась...»

Дверь он затворил. Но полковник, будто подслушав, кивнул:

— Вот и мне напоминает. И не мне одному, в том-то и беда. Дворник на Шереметьевской видел ночью человека в солдатской шинели — выправка, докладывает, военная. Врач толкует про четырёхгранный клинок. Сыскная шепчется: снятие часового. И слово, Михаил Васильевич, уже гуляет. Скверное слово: во-ен-ный. Отставной ли, беглый ли, а только — наш. Армейская косточка режет воровских генералов, потому что полиция, дескать, мышей не ловит... Послезавтра это слово тиснут газеты. Через неделю его будут говорить в салонах. А через месяц, — Скобельцын наклонился вперёд, и голос его стал совсем тих, — его скажут за границей. Русская армия дошла до того, что её отставные фельдфебели чистят уголовный мир ножами. Каково-с? Хоть сейчас в венскую прессу.

— Военное министерство желает знать, армейский ли это след, — сказал Пронин.

— Военное министерство, — поправил полковник, — желает двух вещей, и обе тихие. Первое: если это, не приведи Господь, впрямь кто-то из наших — свихнувшийся ли ветеран, беглый ли, — найти его раньше полиции. Раньше, понимаете? Полицейский арест с газетами — это катастрофа. Второе: если это не наш... — он опять взялся за портсигар, — тогда, друг мой, вопрос ещё интереснее. Тогда кто-то очень старается, чтобы след был армейским. Улики, знаете, как деньги: настоящие тускнеют, фальшивые блестят. Здешные блестят подозрительно. Кому выгодно ссорить полицию с армией? Кому нужно, чтобы весь розыск смотрел в одну сторону? От таких вопросов, Михаил Васильевич, пахнет уже не уголовщиной. От них пахнет ведомством по нашей с вами части.

Он встал, прошёлся по номеру — три шага туда, три обратно, — остановился у окна.

— Работать будете один. Бумаг никаких: вас в этом деле нет, дела этого нет, меня в Москве нет. С полицией — на ваше усмотрение, но помните: у сыскной свой государь — обер-полицмейстер, у жандармов свой — департамент, и оба государя военных не жалуют... Деньги, связь, окно на телеграф — обычным порядком. Вопросы?

— Один, — сказал Пронин. — Почему я?

Скобельцын обернулся от окна. Впервые за весь разговор в его светлых глазах показалось что-то, похожее на живое, — не то жалость, не то извинение, и от этого проблеска Пронину стало холоднее, чем от всего сказанного прежде.

— Потому что вы, Михаил Васильевич, единственный из моих людей, кто знает оба этих мира изнутри, — сказал полковник. — Дно — по Константинополю, армию — по всему остальному... И ещё потому, — он взял с этажерки свой котелок, тщательно отряхнул несуществующую пыль, — что у вас, голубчик, глаз на почерк. Мне нужен человек, который посмотрит на этот крест и скажет: писано ли это нашей рукой. Вы посмотрите — и скажете. Даже если вам очень не захочется говорить.

Он уже стоял в дверях, когда Пронин спросил — негромко, в спину:

— А если рука окажется знакомой?

Скобельцын не обернулся.

— Тогда, — сказал он, — вы сделаете то, что делали всегда. Вы отделите человека от дела. Вас этому учили лучшие профессора империи, и один из них сейчас перед вами кланяется и выходит вон... Не провожайте.

Дверь затворилась. Внизу простучали копыта — лихач с серой лошастью увозил человека, которого не было в Москве.

Михаил Васильевич постоял у окна, глядя на мокрую Божедомку. Потом снял с полки колоду, разложил на столе пасьянс «Могила Наполеона» — и впервые за много месяцев довёл его до конца, до последней карты, сам не заметив как.

Пасьянс сошёлся.

Плохая примета, сказал бы Никифор Хромой. Когда сходится всё — значит, где-то уже началось такое, что не сойдётся никогда.



Глава четвёртая.

Гений, как известно, есть терпение; но репортёрский гений есть нетерпение, помноженное на гривенник.

Гривенников у Семёна Аполлоновича Тесленко было в ту среду ровно четыре, и распорядился он ими следующим образом: один — сторожу мертвецкой при Мясницкой части (свёл давнее знакомство ещё по делу об отравленных пряниках), другой — телефонной барышне, чтобы соединила без очереди, третий — мальчишке-рассыльному, а четвёртый, последний, обеспечивавший ужин, Семён Аполлонович поставил на карту, то есть отдал извозчику, чтобы гнал на Хитровку.

Ставка сыграла к полуночи.

Сторож мертвецкой, приняв гривенник и понюшку, допустил Сеню на две минуты «взглянуть одним глазком-с» — и этим глазком Сеня увидел то, чего не видел ещё ни один газетчик Москвы: грудь удушенного Кистенёва, а на ней — крест. Не рваную рану, не пьяную поножовщину — крест: два разреза, вертикальный подлиннее, поперечный покороче, сведённые с такой чистотой, будто резавший пользовался линейкой и молился.

Сеня стоял над цинковым столом, забыв дышать, и чувствовал то, что чувствует, должно быть, золотоискатель, когда лоток вдруг тяжелеет. Это была Тема. Тема с прописной буквы, Тема-кормилица, Тема-каре́та, которая вывозит из клетчатого пальто в котиковую шубу, — он узнал её мгновенно, как жених узнаёт невесту, и мысленно уже видел не крест, а заголовок.

Заголовок, впрочем, дался не сразу. Обратно на Сретенку, в номера, он шёл пешком, для экономии и вдохновения, и перебирал варианты, шевеля губами, отчего редкие прохожие принимали его за семинариста. «Кровавый крестъ»? Дёшево-с, у Пастухова в «Листке» такое каждую неделю. «Мститель съ Хитровки»? Не мститель, а... кто? Кто вырезает кресты на ворах?

На углу Сретенки и Даева переулка, под фонарём, висела старая, дождём измытая афиша зверинца: «Спѣшите видѣть! Гигантскій паукъ-птицеѣдъ и проч.». Сеня скользнул по ней взглядом, прошёл шагов десять — и встал, как вкопанный.

Паук. Крестовик. Есть же такой паук — обыкновенный, русский, серый, с белым крестом на спине. Плетёт паутину по углам и ждёт.

— Крестовик, — сказал Семён Аполлонович вслух, пробуя слово на язык, как пробуют монету на зуб. Слово было — золото. Короткое, страшное, своё, русское; в нём был и крест, и паук, и паутина над всей воровской Москвой; оно годилось в заголовок, в песню, в божбу, в детскую страшилку. Такие слова газетчику попадают раз в жизни, и Сеня, пробежав до номеров, писал до пятого часа утра, не снявши пальто, макая перо мимо чернильницы.

Утренний фельетон в «Московском листке» вышел под шапкой:

«КРЕСТОВИКЪ. Кто казнить воровскихъ генераловъ Москвы?»

К полудню номер рвали из рук. К вечеру Пастухов удвоил Сене строчечные и потребовал продолжения. Продолжение не заставило себя ждать, ибо у Темы открылось замечательное свойство: она росла сама, как тесто из квашни, и всякий обыватель норовил добавить в неё собственных дрожжей. Дворничиха с Грачёвки видела ночью «чёрного монаха с ножиком». Половой из трактира «Прогресс» слышал, как двое неизвестных шептались: «Крестовик, мол, дал зарок — двенадцать душ». Городовой — тот самый Полосухин, теперь знаменитость околотка — путано, но охотно рассказывал про голову, глядевшую на восход.

А в пятницу к Сене в редакцию пришло письмо.

Конверт был простой, почтовый, без обратного адреса; внутри — половинка листа, и на ней печатными буквами, старательными, как в прописях:

«А вы спросите-ка полицію про шинель солдатскую. Дворникъ съ Шереметьевской видѣлъ. И про выправку спросите. Добροжелатель».

Сеня телефонировал знакомому письмоводителю в Сущёвскую часть, поставил последний гривенник — и к вечеру знал: точно. Был дворник, была шинель, была выправка. Полиция это скрывала — стало быть, это было правдой из правд.

Фельетон субботнего номера назывался «МСТИТЕЛЬ ВЪ ПОГОНАХЪ?» — вопросительный знак Сеня поставил из юридической осторожности, и это была единственная осторожная буква на весь подвал. Дальше шло на разворот: и про шинель, и про военную выправку, и про четырёхгранный клинок («по свѣдѣніямъ, близкимъ къ врачебному міру»), и — венцом — Сенина собственная, за ночь рождённая теория: некий отставной воинскій чинъ, потерявший, быть можетъ, близкое существо по винѣ преступнаго міра, творить нынѣ страшный самосудъ, и полиція безсильна, ибо противъ нея — не воръ, но солдатъ...

Это был уже не тираж. Это был набат.

В воскресенье про Крестовика говорила вся Москва: в Английском клубе и в охотничьих лавках, на Кузнецком и в банях, в консерватории и в казармах. Обыватель, тридцать лет дрожавший перед хитровцем, вдруг ощутил сладкое, стыдное чувство отмищённости — и половина Москвы, крестясь, повторяла: а и поделом; жаль, всех не перережет. Другая половина возражала: помилуйте, это же самосуд, это тьма, — но возражала с тем особенным жаром, с каким возражают, когда втайне согласны.

И уже совсем никто — ни первая половина, ни вторая, ни сам Семён Аполлонович, пивший в понедельник у Тестова первую в жизни бутылку настоящего шампанского, — не задал себе вопроса, который в этой истории был единственно важным.

Вопрос этот, впрочем, был задан — тихо, в маленькой зале позади музыкального магазина на Кузнецком Мосту, где пахло канифолью, палисандром и хорошими сигарами. Задал его самому себе человек в золотых очках, откладывая свежий номер «Листка» и аккуратно, по сгибу, разглаживая его ладонью.

«Отчего же, — думал человек с удовольствием мастера, слушающего, как звучит настроенный им инструмент, — отчего же люди так охотно верят именно в то, во что верить страшнее всего? Надо будет когда-нибудь написать об этом статью. По-немецки. Под старость. „Психология легенды как оружие“ — недурное заглавие...»

Он позвонил в колокольчик и велел вошедшему приказчику — тихому, чистенькому, с глазами цвета остывшего чая:

— Юзеф, голубчик, снесите господину Тесленко в редакцию каталог наших нотных новинок. Просто каталог, с поклоном от фирмы: господин литератор упомянул на днях музыкальный магазин — пусть видит, что мы читаем его с приятностью... И вот ещё что. Та фотографическая мастерская на Сретенке, о которой вы докладывали. Узнайте, когда мадам проявляет уличные свои снимки. Только узнайте, Юзеф. Больше пока ничего.

Приказчик наклонил голову и вышел, не скрипнув ни одной половицей.

А Семён Аполлонович Тесленко, ужиная шампанским, сочинял тем временем понедельничный подвал и был совершенно, безоблачно счастлив. Ему было двадцать семь лет; Тема кормила; Москва читала; слово, придуманное им под фонарём, жило уже само, отдельно, большое и страшное.

Ему и в голову не приходило, что бывают на свете пауки, которые нарочно плетут паутину так, чтобы её было видно. Чтобы все смотрели на паутину.

И никто — на руку, которая её растягивает.

Глава пятая.

Тело нашлось на девятый день — в затоне у Виндавской ветки, под насыпью, где вода уже прихватила салом первого льда. Нашёл его путевой сторож, багром, и к полудню оно

лежало в мертвецкой Сущёвского полицейского дома, на том же цинковом столе, над которым девять дней назад Ефим Кондратьевич Зубцов беседовал с головой.

Голова и тело, таким образом, воссоединились, но радости это никому не прибавило — менее всех Зубцову, у которого к тому времени было уже два покойника, полторы недели бессонницы и одно начальственное внушение. А тут ещё с утра телефонировали от градоначальника: примите, дескать, чиновника особых поручений из Петербурга, статского советника Пронина, коему поручено ознакомиться-с. Оказывать содействие-с.

— Ознакомиться, — повторял Ефим Кондратьевич, шагая по мертвецкой и заложив руки за спину. — Содействие. Тридцать лет служу — и всякий раз, как в Москве заваривается настоящее дело, из Петербурга присылают ознакомиться. В шестьдесят девятом присылали, в восемьдесят втором присылали... И заметь, Брусникин, всегда об одну пору: когда мы ещё ничего не знаем, но уже за всё отвечаем.

Врач Брусникин, раскладывавший инструменты, дипломатично промолчал.

Петербургский гость явился в третьем часу — и Зубцов, взглянув, испытал разочарование пополам с облегчением. Ждал он либо гвардейского хлыща с моноклем, либо канцелярскую лису с портфелем; вошёл же человек неопределённый: серые сонные глаза, статское платье хорошего, но неброского сукна, ранняя седина на висках. Поклонился без чванства, руку пожал без заискивания, сказал, что фамилия его Пронин, что в московских делах он новичок и просит господина начальника сыскной полиции не переменять ради него ни одной из своих привычек.

— Все переменишь тут с вами, — буркнул Ефим Кондратьевич, надел очки и уставился поверх них.

Приём этот — взгляд поверх очков, тридцать лет исправно вскрывавший людей, как консервные жестянки, — дал осечку впервые за долгую практику. Петербургский гость выдержал взгляд не так, как выдерживают сильные (напрягшись), и не так, как выдерживают виновные (моргая), а никак: посмотрел в ответ сонно и вежливо, будто спросили, который час. У Зубцова сделалось странное чувство — словно он ощупал стену и не нашёл её.

— Ну-с, — сказал он, скрывая замешательство, — извольте знакомиться, коли прибыли. Вот-с наш главный свидетель. Молчит, правда, десятый день, ну да у нас в Москве и живые не разговорчивей.

Он ждал, что петербургский поморщится — от запаха, от вида, от всего, — и приготовился уже поставить это себе в маленькое удовольствие. Но гость подошёл к столу спокойно, как подходят к письменному, попросил у Брусникина дозволения — у Брусникина, заметьте, у врача, а не у начальства, и врач, польщённый, засуетился, — и стал смотреть.

Смотрел он долго. Минут десять он не говорил ни слова и не трогал тела — только ходил вокруг стола, наклоняясь то так, то этак, и глаза его из сонных сделались другими: цепкими, быстрыми, работающими. Зубцов, наблюдавший за наблюдателем, отметил про себя это преобразование и записал его в память, в графу, которой у него отродясь не было: непонятное.

— Ефим Кондратьевич, — сказал наконец гость (запомнил ведь имя-отчество с одного разу), — могу я рассуждать вслух? Поправляйте меня, где совру: вы этого человека знали живым, я — нет.

— Рассуждайте, — разрешил Зубцов и приготовился скучать.

Скучать не пришлось.

— Крест на груди резан после смерти, — начал Пронин ровным голосом, каким читают опись. — Крови по разрезам почти нет, края чистые. Резала рука твёрдая, привычная к ножу, но вот что любопытно: резала не спеша и не единым движением, а как бы... с тщанием. Видите, вертикальная черта — из трёх приёмов, и все три ровно по одной линии. Так не метят и не глумятся. Так — исполняют. Обряд, урок, епитимью — не знаю что, но исполняют, для исполнителя это было важно и, рискну сказать, свято... Теперь шея.

Он наклонился к страшному тёмному срезу, и Брусникин услужливо поднёс лампу.

— А вот шея — другая рука.

В мертвецкой стало тихо. Зубцов медленно снял очки.

— То есть как это — другая?

— Крест резан четырёхгранным клинком: видите, в начале каждого разреза кожа не разрезана, а расколота, четырёхгранник не режет — колет и рвёт, им вести разрез неудобно, потому и три приёма. А шея, — Пронин выпрямился, — шея работана длинным плоским клинком, бритвенной заточки, одним движением, много двумя. И работана без всякого тщания — быстро, умело и равнодушно, как мясник разделявает тушу. Тот, кто резал крест, молился. Тот, кто снимал голову, — считал минуты. Это два разных человека, Ефим Кондратьевич. На вашем месте покойника было двое.

— Брусникин? — не поворачивая головы, спросил Зубцов.

Врач, красный от волнения, уже светил лупой над срезом.

— Похоже-с... — бормотал он. — Очень похоже-с... Я, изволите помнить, и сам докладывал: голова отделена не тем орудием, что... но чтобы два человека — не смел утверждать-с...

— А вы, сударь, стало быть, смеете, — Зубцов повернулся к гостю всем корпусом, тяжело, как поворачивается ломовая лошадь. — Смелый вы человек. Ну а скажите-ка мне, смелый человек из Петербурга: на кой ляд двум разным людям один покойник? Один, значит, помолился и крест вырезал, а другой опосля голову оттяпал и на дровишки её, на щепочки? Это что ж у нас выходит — артель? Товарищество на паях?

— Выходит, — согласился Пронин, — что убийца и... скажем так, издатель — разные лица. Один убивает по причинам, которые ему кажутся святыми. Другой ходит следом и превращает эти убийства в афишки. Голова на поленнице — афишка. Для кого — вот вопрос, с которого я бы начинал... Впрочем, виноват: начинать надо не с него.

Он снова наклонился — теперь к одежде, грудой лежавшей на скамье: поддёвка тонкого сукна, рубаха, сапоги бутылками, всё вымоченное затоном, стянувшееся, жалкое. Долго перебирал складки поддёвки, потом достал из кармана белый платок, провёл им изнутри по вороту, по швам — и поднёс к лампе.

На платке остался желтоватый след — не грязь и не ил, а мельчайшая, стеклянисто искрящаяся пыль.

— Брусникин, будьте добры... понюхайте. У меня после ранения нюх слаб.

Брусникин понюхал, наморщился, понюхал ещё.

— Хвойное что-то... смолистое-с... скипидаром отдаёт, но не скипидар...

— Канифоль, — сказал Зубцов внезапно.

Оба обернулись к нему. Ефим Кондратьевич стоял, глядя на платок, и лицо у него было озадаченное, почти обиженное.

— Канифоль, — повторил он. — Мы с покойником, изволите видеть, старые знакомые: он в молодых летах на скрипке играл, по трактирам. Кличка его оттуда — Смычок... Только вот что я вам доложу, господа хорошие: скрипку он лет тридцать в руки не брал. Пальцы, вишь, каторга съела, — он кивнул на страшную, разбитую кисть покойника. — Какими же судьбами у него полон ворот канифольной пыли, ежели он к скрипачам и близко не ходил? Не в оркестре же его убивали, прости Господи.

— Не в оркестре, — согласился Пронин задумчиво. — Но, возможно, там, где канифолью пахнет так густо, что она садится на платье. В мастерской, где её варят или толкут. В лавке музыкального товара, при складе... Заметьте, пыль — в воротах, изнутри, в швах. Это не «прошёл мимо». Это «бывал подолгу и не раз».

Зубцов посопел, глядя на гостя поверх очков — уже безо всякой надежды его этим проткнуть, а просто по привычке, — и вдруг спросил в лоб:

— Вы кто таков будете, господин Пронин? Только не надо мне про особые поручения, я этих поручений навидался. Особые поручения ходят с портфелем и в мертвецкой платочек к носу жмут. А вы покойника читаете, как псаломщик Псалтырь, — с любого места и без запинки. Где так выучились, ежели не секрет?

— Секрет, — сказал Пронин просто. И, помолчав, добавил: — Но воевать нам с вами не из-за чего, Ефим Кондратьевич. Ваш государь — порядок в Москве. Мой — в некотором роде тоже порядок, только межа у него подлиннее... Давайте так: я не полезу в ваше дознание с советами, а вы позволите мне иногда стоять рядом и молчать. За это — всё, что найду, будет ложиться к вам на стол раньше, чем в Петербург. Слово.

Ефим Кондратьевич думал долго, с сопением, как думают старые недоверчивые люди, которым понравился человек и которые сердятся на себя за это.

— Канифоль, — сказал он наконец ворчливо, что означало согласие. — Тридцать лет служу, всякое видал: по грязи с сапог убийц находили, по конскому волосу, по табаку. По канифоли — не доводилось... Ну что ж, сударь вы мой сонный. Поглядим, каков из вас псаломщик.

Он протянул руку — широкоую, жёсткую, в старческой грече, — и Пронин пожал её.

Так, над цинковым столом, между головой и канифолью, был заключён союз, которому предстояло спасти одного из них от бесчестья, другого от смерти, а скольких людей — от вещей похуже смерти, того не считал никто.

Впрочем, до этого было ещё далеко. А пока что оба, не сговариваясь, снова повернулись к покойнику — и Смычок смотрел в потолок мёртвыми глазами, тихий, страшный, уже никому не хозяин, и молчал про главное.

Про то, что канифольную пыль он вынес из маленькой залы позади магазина на Кузнецком Мосту, где ему, усадив в бархатное кресло и потчuya кофеem, чрезвычайно вежливый человек в золотых очках объяснил однажды, что почём на этом свете.

И про то, как сильно он, Смычок, ошибся, решив, что понял объяснение.

Глава шестая.

Чиновник особых поручений Пронин отбыл в Петербург в четверг, с вечерним скорым: взял билет первого класса, дал на чай носильщику, помахал из окна письмоводителю Сущёвской части, присланному — Зубцов был человек основательный — не то проводить, не то проверить.

А в пятницу, к вечеру, через Крестовскую заставу вошёл в Марьину Рошу пеший человек с барахольным сидором за плечом.

Был он немолод и потаскан: рыжеватая бородка с проседью, стриженная по-мещански, под скобку; глаз левый чуть косил, отчего казалось, что человек всё время высматривает что-то у собеседника за плечом; картуз, чуйка, смазные сапоги — всё ношеное, всё сидело на нём давно и ладно, как кора на дереве. Шёл он развалисто, беря на левую ногу, у заставы задержался, купил у бабы горячую сайку, съел тут же, обстоятельно, стряхнув крошки в ладонь и — в рот; расспросил, где тут у вас трактир почище, чтоб клопов поменьше, выслушал в ответ, что почище — это не к нам, а клопов везде вдоволь, посмеялся, пошёл дальше.

Никакой театральной школе не выучить тому, из чего складывался этот человек. Актёр играет лицом и голосом; Пронин начинал с изнанки. Двое суток — ещё на Божедомке, при запертых дверях — он не гримировался, а вспоминал: как ноют к вечеру ноги, тридцать лет ходившие по чужим городам с коробом; как смотрит на мир человек, которого всю жизнь обвешивали и который сам обвешивал; как ест голодавший в детстве — быстро, прикрывая еду локтем; о чём молчит и о чём охотно врёт мелкий скупщик, тёршийся при варшавских бандах. Он вспоминал, пока Аверьян Фомич Кулик не завёлся в нём целиком — с походкой, изжогой, косым глазом (косить Пронин умел давно, это была единственная чисто цирковая его накладка)

и полной, до донышка, биографией, в которой при нужде отыскились бы и подлинные варшавские имена: агентура Военно-учёного комитета по западному краю имела свои удобства.

Барин с Божедомки остался лежать в сундуке. В Рощу входил Кулик.

Трактир Никифора Хромого стоял на Шереметьевской, в полуподвале, отчего и звался «Низок»: четыре ступени вниз, потолок в аршин над головой, вечный пар от чайников, вечный чад от подовых пирогов, а по стенам — то особенное марьинорощинское общество, где по одежде никак не угадать, кто спит в ночлежке, а у кого в подполе кубышка с золотыми.

Сам Никифор — брюхатый, лысый, с култышкой вместо левой ступни — царил за стойкой, как архиерей на амвоне, и, издали углядев нового человека, определил его намётанным глазом мгновенно и безошибочно: барахольщик, из бывалых, при деньгах небольших, но верных, — и выслал полового принять сидор.

А через час, когда новый человек, отужинав щами и напившись чаю до седьмого пота, подошёл к стойке рассчитаться и, пересыпая медяки, сказал негромко, глядя косым глазом куда-то за никифорово плечо: «А что, хозяин, укропом-то нынче в Москве торгуют ли? Мне бы семян укропных, огородишко у сестры в Клину...» — Никифор Саввич Лутохин почувствовал, как пол мертвецки качнулся под его единственной ногой.

Про укроп на всём белом свете знали двое: он да офицер, который пять лет назад увёл его от Сибири и с тех пор являлся, как чёрт из бутылки, всегда в новом обличье и всегда не к добру.

— Укропу... — просипел Никифор, багровея. — Укропу, мил человек, это надо к Агратфене-огороднице, за линию... Дуняшка! Прибери со стола, я гостя сам провожу, им на двор надобно!

На заднем дворе, между поленицей и нужником, в темноте, пахнувшей помоями и первым снегом, Никифор долго молча смотрел на косоглазого барахольщика, потом перекрестился и сказал с чувством:

— Ваше высокоблагородие. Михаил Васильич. Вот же ж наказание Господне на мою душу. Я уж думал — всё, забыли меня, оставили при трактире век доживать... Чуял ведь! Чуял с утра: сорока на коньке стрекотала — быть беде.

— Здравствуй, Никифор, — сказал барахольщик голосом, который был и не был исаевским. — Беды тебе от меня не будет, будет прибыль: постояльца пушу, за фатеру заплачу вперёд. А вот скажи-ка ты мне сперва...

— Про Крестовика, — обречённо кивнул Никифор. — Все про него. Вся Роща про него, чтоб ему сдохнуть, треклятому, — торговлю мне губит: народ затемно по домам сидит, выручка вполовину... Ваше высокоблагородие, отец родной, а может, ну его? Может, оно само как-нибудь? Ведь это ж не человек ходит — смерть с тесаком, ей-богу...

— Сама только кошка родит, — сказал Кулик-Пронин наставительно, уже опять по-барахольному, и косой глаз его весело блеснул в темноте. — Веди в дом, хозяин. Чаю, я у тебя ещё не пил.

* * *

За следующие три дня трактир «Низок» приобрёл постояльца, а Михаил Васильевич — то, чего не добыть ни в каких канцеляриях: голос Рощи.

Роща говорила. Роща не могла не говорить, потому что ей было страшно, а страх у русского человека выходит словами или ножом, и пока что — словами. За чаем, за косушкой, за подовым пирогом «Низок» гудел вполголоса, и Аверьян Фомич Кулик, скучающий барахольщик, сидел в углу под образами, раскладывал по столу свой товар — пуговицы, тесьму, иглы, — торговался лениво, слушал и мотал.

Говорили, во-первых, про сходку: быть большой сходке, «Иваны» съедутся, надо решать, кто режет главных, и что это за знак такой — крест, и по чьей душе следующий счёт. Называли баню Дьякона на Даниловке; называли день — не вслух, а пальцами по столу.

Говорили, во-вторых, про войско. Версия «мстителя в погонах», спущенная газетами, легла на Рошу, как искра на сухое: тут каждый второй в своё время бегал от воинского присутствия, каждый третий сидел при солдатах-конвойных, и солдата Роша боялась исторически, нутром. Дворникова «шинель с выправкой» выросла в пересказах до целой роты: будто ходят по ночам трое, шаг в шаг, как на разводе; будто у Крестовской заставы застава уже не наша, а тайная воинская; будто Смычок-де перед смертью «зацепил казну» — и вот казна пришла взыскивать.

Вот тут-то, на слове «казна», Михаил Васильевич и сделал в казанском своём доме первую зарубку. Потому что сказано это было не в общем трёпе, а тихо, вдвоём, за угловым столом, двумя людьми, которых Никифор шёпотом отрекомендовал так: Гвоздь — смычковский старик, из ближних, при переправе состоял; второй — Сёма Белец, барыга с Виндавской линии.

Разговор их — Пронин слышал его в четверть уха, торгуясь в это время с бабой из-за тесьмы. — стоил всех московских газет за месяц.

— ...я ему: Денисич, не бери ты этого товару, — бубнил Гвоздь в кружку. — Всю жизнь возили как люди: рыжѣ возили, камешки возили, шубы, вон, возили. А это что ж за товар, когда его ни взвесить, ни в горсти подержать? Бумага она бумага и есть...

— Платили-то, сказывают, как за рыжё, — завистливо сказал Белец.

— Пла-тили... — Гвоздь усмехнулся нехорошо. — Заплатили уж. Всем заплатят, кто ту бумагу нюхал. Смычку — первому, Кистеню — втор...

Он оборвал сам себя, дёрнулся, зыркнул по трактиру — Пронин в этот миг увлечённо пробовал тесьму на разрыв — и досказал уже совсем в кружку, одними губами; но Михаилу Васильевичу хватило и сказанного.

Бумага. Возили бумагу. На Варшаву, как возят рыжѐ, и платили как за рыжѐ. И все, кто её «нюхал», — в очереди на крест.

Вечером, на задах, куда Никифор вышел якобы по бочарной надобности, Пронин спросил его тихо:

— Гвоздь этот — где ночует?

— У свояченицы, за линией... Ваше высокоблагородие, вы б с ним поаккуратней: он смычковский, старой закваски, он чужому...

— И вот ещё что. Со сходкой. Мне надо туда.

Никифор охнул и сел на бочку.

— На сходку?.. Вам?.. Да вы... да там же... Михаил Васильич, отец, да ведь ежели вынюхают — это ж не участок, там протоколов не пишут! Там, знаете, как? Спросят: чей, откуда, кто знает, — и чтоб двое поручились! А за вас кто поручится, за варшавского-то?

— Ты, — сказал Пронин. — И ещё один человек, которого я тебе назову завтра. А теперь ступай в дом, хозяин, застудишься. Ночи нынче холодные.

Никифор поковылял к крыльцу, охая и бормоча про сороку. На пороге оглянулся: постоялец стоял посреди тёмного двора, подняв голову, и смотрел на небо, где над трубами Рощи, над всей огромной, ворочающейся во сне Москвой стыли мелкие октябрьские звёзды.

О чём думал — по лицу его понять было нельзя, потому что лица не было видно; а если бы и было видно, то было это лицо Аверьяна Кулика, барахольщика, и думать оно умело только о ценах на тесьму.

Но где-то очень глубоко, в казанском доме, в дальней комнате, куда Михаил Васильевич старался не заходить без крайности, стоял у стены пластунский тесак-четырёхгранник — подарок, старый подарок человека, вынесшего его когда-то из-под текинских шашек, — и от зарубки «бумага» до этой комнаты тянуло сквозняком, и сквозняк этот Пронину очень, очень не нравился.

«Ничего, — сказал он себе привычное, отцовское. — Бывало хуже».

Хотя вот в чём беда: припомнить, когда именно бывало хуже, ему на этот раз не удалось.

Глава седьмая.

За Камер-Коллежским валом, где кончается Лазаревское кладбище и начинается никакое место — не город, не деревня, а пустыри с лозняком да брошенная сторожка огородного товарищества, — жил старик.

Жил он тихо, как живут мыши в церковной стене. Сторожку подправил сам: перестелил кровлю, обмазал печурку, законопатил пазы мхом — руки помнили работу, которой их учили пятьдесят лет назад на Кубани. Воду брал из копанки, хлеб покупал в разных лавках, всякий раз в другой, и всякий раз шёл туда другой дорогой. Это тоже помнили не мозги — ноги: никогда не ходи одной тропой дважды, тропа — та же бумага, на ней всё написано, только читать умей.

Соседей у старика не было, а которые случались — огородники по осени, мальчишки с салазками по первопутку — те его не видали. То есть, может, и видали, да не примечали: ну, старик; ну, борода; ну, сидит на завалинке, лапоть ковыряет. Есть особая порода людей, которых глаз обходит, и старик принадлежал к ней от рождения, а полвека службы довели породу до совершенства.

По ночам старик молился.

Моленную он устроил себе в красном углу: доска старого письма, вывезенная ещё с Кубани, в холстинке, — Спас, тёмный, строгий, с прямым взглядом; перед доской — свеча. Молился по-своему, по-старому, двуперстно, с лестовкой, без попов и посредников: старик был из тех, чьи деды горели за старую веру срубами, и Бог у него был соответственный — не милостивец с базарной иконки, а Полковник: суровый, справедливый, всё видящий, перед которым надо стоять смиренно и докладывать без утайки.

Доклад у старика был каждую ночь один.

— ...и раба Твоего Фрола, — говорил он, глядя в тёмный лик, и голос его, глухой, с сипотцой от давнего ранения в горло, был ровен, как на разводе. — Кистенёва Фрола, коего казнил аз, грешный, в ночь на тринадцатое. Казнил не по злобе, Господи, — по вине его. Вина его: девок губил, малолетних, на грех ставил силою и обманом, и дитё моё, Настасью, через его тётку-сводню в яму свели... Крест ему на грудях вырезал, чтоб Ты, Господи, видел: не тать его резал в тёмном углу, а суд ему был. Прими его душу, коли будет на то Твоя воля, и суди Сам — я своё отсудил... А меня, раба Твоего Савелия, не милуй. Мне милости не надо. Мне надо ещё троих.

Свеча трещала. Спас смотрел прямо и молчал, но молчание это было старику понятно и привычно: так молчал перед строем покойный государев генерал Скобелев, когда всё сделано верно, — не хвалил, просто переводил глаза дальше.

Старика звали Савелий Тихонович Молчанов. Впрочем, так его не звал уже никто; последняя, кто звала его тятёй, лежала второй год на Лазаревском, в дальнем углу, где хоронят с земской бирки, и он ходил к ней раз в неделю, по воскресеньям, всякий раз другой дорогой.

* * *

Дочь он растил один. Жена померла родами, а он как раз вышел в чистую отставку — тридцать лет службы, Кавказ, Туркестан, два Егория, шрам поперёк горла и грамота на льготный надел под Рязанью. Хозяин он был из него, прямо сказать, никакой: пластуна учат снимать часовых, а не ходить за сохой. Но Настька росла — и вышло так, что вся жизнь, весь её остаток, обгорелый и простреленный, собрался в одну эту точку: девчонка, коса, смешливый прищур — материн.

Осенью девяносто пятого пришла в село гладкая тётка в городском платке: московская, честная вдова, набирает-де девушек на швейное заведение, харчи хозяйские, жалованье восемь рублей, воскресенье — свободное. Полсела провожало, бабы завидовали.

Письма шли полгода — сначала настоящие, потом чужие. Он это увидел сразу, по почерку: почерк был Настин, а слова — нет, слова были казённые, круглые, как под диктовку. Он собрался и поехал.

Москву он брал, как берут крепость: медленно, по секторам. Швейного заведения по адресу не оказалось — оказались номера. В номерах его не пустили дальше швейцара; швейцара он ночью поймал в проулке, и швейцар, повисев немного в стариковых руках, доложил всё: и про «тётку», и про то, куда с этих номеров девают девок, когда выйдет им износ.

Настю он нашёл через восемь месяцев — в чахоточном бараке Старо-Екатерининской, за ширмой из рогожи. Она уже не вставала и его узнала не сразу, а узнав — не обрадовалась, а испугалась и заплакала, и всё отворачивала лицо: стыдилась. Он сидел рядом, гладил её по стриженной — после тифа — голове ручищей, которой снимал когда-то турецких часовых, и говорил единственное, что умел:

— Ништо, дочка. Ништо. Тятя здесь.

Она отошла на Казанскую, тихо, под утро. В смертной записке больничный писарь вывел: «мещанка, имя неизвѣстно, отъ чахотки». Имя было известно ему, старику; больше оно не было нужно никому во всей миллионной Москве.

Вот тогда, стоя над земляным холмиком с биркой, Савелий Тихонович Молчанов и подал свой последний рапорт — туда, наверх, Полковнику всех полковников: так, мол, и так; виновные есть; дознание проведу сам; приговор исполню сам; в отставку прошу не увольнять до исполнения.

И был, как он понял, оставлен в службе.

* * *

Одно лишь не давалось ему, хоть плачь: имена. Москва — не «зелёнка», тут следы не на земле, тут следы в людях, а людей он спрашивать не умел: рожей не вышел, речью не вышел, всякий шинок при его появлении замолкал. Полгода он кружил около номеров, около тёткиной квартиры (тётка к тому времени сгинула — уехала, сказывали, в Нижний), полгода дознание его топталось, как обоз в распутицу.

А потом его нашли.

Подошёл к нему на Лазаревском, у самой Настиной бирки, человек: чистенький, тихий, приказчицкого виду, с глазами цвета спитого чая. Снял шапку, постоял. Сказал негромко, не оборачиваясь:

— Горе у тебя, старик. Знаю. И тех, кто горю твоему причинен, — тоже знаю. Хозяин мой знает. Он за девок этих, погубленных, давно скорбит душою и казнить бы рад, да сам не может: не тем концом жизнь его повёрнута. Люди это сильные, воровские, полиция их не берёт — куплена полиция... Хочешь имена?

Дальше — как в тумане, и туман этот старик сам в себе не любил и не ворошил. Было дупло в старой липе у кладбищенской стены. Были в дупле записки — печатными буквами, старательными: имя, прозвище, где бывает, в чём вина. Вина расписана подробно, с днями и обстоятельствами: этот — держал ту самую скупку и «тётку»-сводню в долях; тот — номера крышевал... Были и деньги, каждый раз, — деньги он оставлял в дупле нетронутыми, и в следующей записке неведомый «писарь» извинялся и денег больше не клал. Это старика окончательно уверило: свой человек пишет, совестливый; понимает, что не за плату.

Первым в записках стоял Смычок.

К Смычку старик готовился месяц: выучил все его тропы, всех его людей, часы и привычки, — по-пластунски, как учат укреплённый лагерь. Взял его в тёмную безлунную ночь, одного, у смычковского же тайного лабаза, — и, прежде чем исполнить, доложил ему вину его и дал перекреститься. Смычок крестился, плакал и кричал шёпотом странное: что он-то при чём, что это всё бумага проклятая, что «немец заплатит, кому хошь заплатит»... Старик слу-

шал внимательно — пластуна учат слушать всё, — но слов не понял и отнёс их к смертному страху: перед тесаком всякий плетёт.

Крест на груди он вырезал уже мёртвому — первый свой крест, примериваясь, из трёх приёмов, — и ушёл, оставив тело, как было велено им самим себе: не прятать. Суд не прячут.

А наутро Москва загудела про голову на поленнице, — и старик, услышав это в хлебной лавке, окаменел над своим ситным.

Голову он не рубил. Тело не переносил. Щепочек не подкладывал.

Кто-то пришёл после него — и надругался. Над судом его надругался, над крестом, перед Полковником всех полковников осрамил: суд обернули балаганом, головой на дровах, газетным визгом...

Той ночью он впервые спросил дупло. Вырвал из Настиной поминальной книжицы листок, вывел углём, печатно, как умел: «ГОЛОВУ КТО РУБИЛ. НЕ Я. НЕ ПО-БОЖЬИ ЭТО». И положил в липу.

Ответ лежал там через двое суток, и был он составлен так ловко, что старик, читая, кивал: «Люди Смычка сами и срубили, чтобы на своих не подумали, и полицию с толку сбить. Воры — они и над мёртвым воры. Ты суди дальше, старик, а на их пёсы дела не гляди. Осталось четверо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.